

С 1950 годом наступило новое рубежное десятилетие XX века. Для Федора Александровича оно будет весьма непростым, круто замешанным, переломным и отчасти даже жестоким, разрушительным в оценках действительности, переосмысления им ценностей и в то же время ярким, наполненным глубокими переменами в жизни. В начале этого десятилетия его имя во весь глас загремит со страниц «Нового мира» жесткой, реалистичной критикой, чтобы к концу 50-х прочно осесть в русской, мировой литературе, став в ней, без преувеличения, в один ряд с тем, кому он посвятил годы своей научной деятельности.

А в первый год нового десятилетия Федор Абрамов, словно загнанный в оклад, метался между кандидатской, которую нужно было писать и доводить до ума (за ней стабильность, статус и деньги), и воплощением в жизнь замысла своего романа, судьба которого была еще весьма призрачна, но к которому уже тяготел и без которого уже не мог. Подолгу просиживая в читальных залах университетской и публичной библиотек, обкладываясь книгами, старательно работал над текстом диссертации. Он словно подгонял себя, стараясь как можно быстрее освободиться от назойливой рутины написания диссертационного текста. Работа над диссертацией давала ту книжную радость, страсть общения с литературой, которая владела Федором Александровичем всю жизнь. Удивительная жадность до книг, до чтения, погружение в мир героев так явственно и зримо были для Абрамова нравственным маяком, освещавшим все его творчество. И работа над диссертацией была для него своеобразным уединением от всего этого шумного, клокочущего на все лады мира, в котором он жил.

* Главы (в сокращении) из готовящейся к публикации в издательстве «Молодая гвардия» книги «Федор Абрамов. Я жил на своей земле». Фотографии предоставлены пресс-службой Академического Малого драматического театра – Театра Европы г. Санкт-Петербурга.

Он по-прежнему являлся активистом в общественных делах, был на виду и, как говорится, в фаворе у университетского начальства, да и в кругах повыше. О нем во всеуслышание поговаривали в кулуарах и в кабинетах влиятельных членов Ленинградского обкома, и в первую очередь в связи с ленинградским делом о космополитах, где он был «в передовиках». Его партийная карьера могла бы сложиться достаточно рано и успешно, не вылез наружу его прямолинейность и... почти детская наивность.

Являясь членом партийного бюро факультета, он был по-прежнему безапелляционно суров и, продвигая линию партии, отталкивал своим хмурым видом. Его «мало кто любил: молва шла впереди него», – вспоминал о Федоре Абрамове Александр Рубашкин*. Чрезмерная замкнутость, и это подмечали многие, подпудренная твердым и сложным характером, настораживала. Уже на тех порах эта боязнь в отношении Федора Абрамова превращалась в явную ненависть к нему. Никто не хотел или, может быть, просто не желал заглянуть в его потаенные глубины души. Душевная чистота Абрамова и человеколюбие, внутреннее душевное состояние, ранимость, восприятие мира глазами тонкого художника спустя время с лихвой водопадом чувств прольются на страницах «Братьев и сестер», «Пелагеи», «Альки» и других творений, и для тех, кто знал иного Абрамова, это станет открытием.

Сомневающаяся натура Абрамова, который мучил себя мыслями о несовершенстве, постоянно выискивал изъян не только в себе самом, но и в отношениях с любящим его человеком, не прекращала искать подтверждения искренности чувств, их достоверности. В действительности это была борьба с самим собой за свободу в первую очередь творческую, которой Абрамов явно дорожил и отсутствие которой не мог допустить. Он хорошо понимал, что семейная жизнь с ее обязанностями и обременениями, с ответственностью и как следствие тому ограничениями во многом, и прежде всего в писательском труде, может стать для него невыносимой из-за потери творческой свободы, к которой он так стремился. Он верил в себя, верил в свои силы и очень боялся в этом оступиться, не реализовав себя в том, что он ставил уже на первый план – литературное творчество. И это долгое «прощупывание» отношений с Крутиковой, затянувшееся более чем на два года, было, по всей видимости, со стороны Абрамова шагом намеренным.

2 июня в Белорусском университете успешно прошла защита кандидатской диссертации Людмилы Крутиковой. Федор в своем телефонном разговоре был сдержан в поздравлениях, сетовал на то, что рано радоваться и что защиту должна еще утвердить Москва, где заседала Высшая аттестационная комиссия. Эта «нейтральность» Абрамова по отношению к весьма большому событию и успеху близкого ему человека была уж чересчур «немой» и как бы отторженной, не воспринятой им должным образом.

В середине июля, уже после своего возвращения в Ленинград из Минска, куда Абрамов ездил всего лишь на два дня, после возникшей там новой размолвки он отправляет Крутиковой письмо, наполненное сомнениями об их будущем. Но уже в следующем новом письме, словно испугавшись возможной потери, сам же себе и противоречит, отгоняя мрачные мысли: «Наше решение с тобой порвать переписку мне сейчас представляется, по меньшей мере, наивным» (из письма 19 июля 1950 года).

Абрамов, словно играя, выворачивая наружу, ощупывает чувства человека, явно заинтересованного в нем, пытается не просто понять искренность

* Рубашкин А. И. В доме Зингера. Воспоминания. Портреты. Письма. СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга; Петрополис, 2015. С. 91–135.



↑ В первый год начала работы над романом «Братья и сестры», 1950 год

этих чувств, но и отгородить себя некой стеной от первого шага в отношениях со своей стороны. Он боится оступиться в своих опасениях и еще, еще раз настойчиво заводит разговор в переписке о несостоятельности их отношений, тем самым вынуждая на глубокие по эмоциональному раскладу письма. «Федя. Дорогой!.. Мое состояние, настроение, чувства нельзя просто передать, для этого нужно быть гениальным художником. Увы, я не могу. Меня мучает многое, терзает больше всего то, что ты отказался от меня, от большой настоящей любви, от чудесной сказки, – напишет Людмила Владимировна Федору Абрамову в письме 27 июля 1950 года. – Я люблю тебя... Любимый мой, если мы не встретимся, очень прошу тебя – достань пьесу Э. Ростана “Сирано де Бержерак” и храни ее как память обо мне. О нашей любви. Живи как он “с солнцем в крови”, борись своим словом и делом, как он, с подлостью, клеветой. Предрассудками и глупостью. Я верю в тебя. И ты когда-нибудь поймешь свою ошибку...»

Это кричащее во весь голос письмо Людмилы о своих чувствах Федор Абрамов получит уже на хуторе Дорищи Новгородской области, куда он был зазван другом Федькой Мельниковым и откуда, оставив свои творческие дела, что для него в этот момент было наверняка делом непростым, уехал 15 июля в Минск по настоятельному прошению Людмилы, где, вероятнее всего, и обозначил адрес своего летнего пребывания.

Хутор Дорищи. Если бы не пребывание в нем в 50-м году Федора Абрамова и та незримая связь с романом «Братья и сестры», вряд ли кто-нибудь ныне вспомнил о том райском уголке уединения, затерявшемся среди новгородских лесов у тихого лесного озерка, куда было весьма непросто добраться, впрочем, как и ныне.

До хутора путь был мучительным. И если бы не железная дорога, то вряд ли сюда можно было добраться за один день.

Сначала гости ехали в донельзя набитом пассажирами поезде до станции с забавным названием Боровенка, а затем еще семь верст на подводе, которой умело правила дочь хозяина Дорищ Екатерина, что и встречала путников на железнодорожной станции.

Дорога текла все больше лесом, перелесками, прикрывающими поля, выкапывала на простор полевых закраек, обогнув лесное, загустевшее с берегов сорным осотником Хоринское озеро, получившее название по соседствующей с ним деревне Хорино.

Неровность, валкость дороги ощущалась всем телом, и гости, а Мельников ехал еще и со своей женой Людмилой и сыном Сергеем, расположив на телеге свой нехитрый скарб, переваливаясь с боку на бок, слушали простор увядающего дня, любовались красками лета, оставив позади городскую суету.

О чем разговаривали в дороге два Федора – неизвестно. Ни тот ни другой на этот счет не оставили никаких свидетельств. Но то, что Абрамов, по воспоминаниям Мельникова, уже на второй день по приезде принялся усердно работать, говорит о многом.

Федору Александровичу явно понравились здешние места, чем-то отдаленно напоминавшие и его родное Пинежье: пожни, густые леса, необозримый простор которых так же терялся за горизонтом. Может быть, не хватало высокого угора да широкой вьющейся ленты реки. Но это с лихвой компенсировалось тишиной и умиротворенностью.

Хозяин одного из хуторских домов (всего в Дорищах было семь дворов) Трофим Андреевич Уткин по просьбе Мельникова, которого он хорошо знал по лету 49-го, когда тот уже гостевал с семьей на его хуторе, отвел новому гостю совсем недавно поставленную избу.

По воспоминаниям Мельникова, от такого подарка Абрамов был в восторге, радовался как ребенок! Он умел так радоваться – искренне, с душевной простотой, нараспах души! Долго ходил, осматривался, потирал ладонями струганые, пропитанные смолой бревна, вдыхая горьковато-пряный смоляной дух. Присаживаясь на дощатые приступки, облакачивался спиной на дверной косяк и о чем-то думал, думал, словно выпадая во времени.

Тогда в Дорищи Федор Александрович привез с собой самый ценный груз – сюжетные наброски своего «первенца» – романа, названия которому еще не было, и записные книжки.

Федор Мельников впоследствии просто не мог не рассказать о том, как работал Абрамов в Дорищах: «За рабочий стол Федор садился очень рано, с рассветом, и работал до самого вечера с перерывами на завтрак и обед. Питались мы вместе, за одним столом. Готовила для нас добрая и хлебосольная хозяйка дома Ольга Семеновна... Нас же, помню, хорошо кормили – свое парное молоко, своя картошка, домашние вкусные хлебы...

После завтрака с топленным молоком из русской печи, с вареными яйцами из самовара Федя шел за свой “станок”, как он называл рабочий стол, а я принимался за свое обычное дело. После обеда он читал то, что им было написано за рабочий день. Читал он только мне и просил об этом никому не говорить. Читал он четко, с расстановкой, проверяя активность своего слушателя и зрителя...

Мы были оба увлечены этим удивительным процессом рождения живых литературных героев. В нашей беседе, размышлениях, продолжая развивать характеры людей, их отношения, связи, сюжетные линии, Федор своим темпераментом и напором буквально втягивал меня в самую гущу творческого “варева” и не отпускал меня до тех пор, пока сам себя не исчерпает до дна...

И, наверное, было бы совсем однобоко и упрощенно видеть в тамошних чтениях и беседах одну только радость, сплошное удовлетворение. Нет! Было очень много и огорчений. Часто возникали споры. Особенно было трудно, когда у Федора наступали кризисные часы – время сомнений, а то и полного неверия в свои способности. Такие трудные периоды назывались нами в шутку “падучей”. Нелегко расставалась с ним “падучая”. Требовалось время, определенные совместные наши усилия, нужный заряд энергии и уверенности для дальнейшей писательской работы.

Когда работа у него застопоривалась, он решительно ее оставлял и уходил из дома. В дальние прогулки, которые он так любил, он звал и меня. А поскольку вокруг Дорищей было много всякой ягоды и грибов, мы брали лукошки и уходили на природу...

Когда были написаны первые главы, Федор, советуясь со мной, неуверенно, потом твердо дал название “Великая страда”. Затем появились другие – “Невидимая сила”, “Бабы, старики, дети”...

Живя в Дорищах, мы с Федей часто ходили в рабочий поселок Дерняки. Бывало, по дороге мы с увлечением занимались придумыванием названия нового романа. Почти все они были отвергнуты, кроме трех, которые тоже не выдержали испытания временем, – “Семья Пряслиных”, “Мои земляки”, “Наши братья”. Дольше всех за романом закрепилось название “Большая страда”...»*

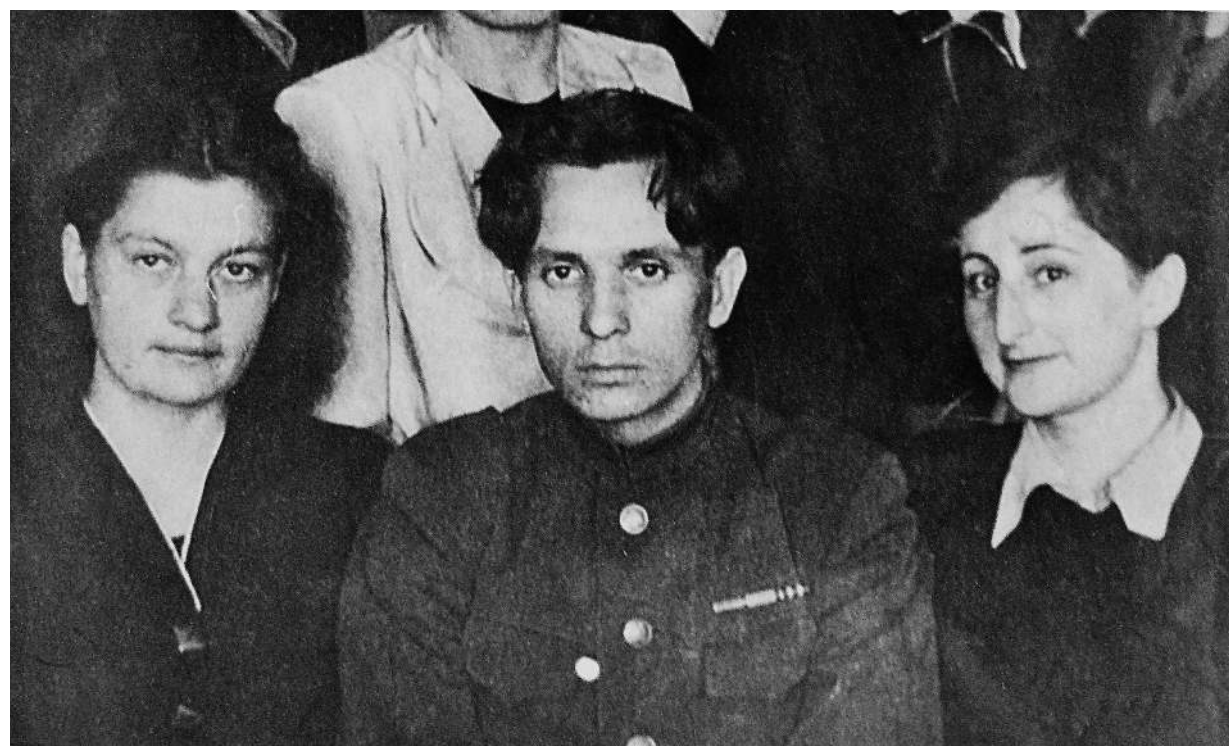
И только вернувшись 19 августа в Ленинград, Абрамов поймет, насколько благоприятно было для него это «сидение» в Дорищах, для его творческого настроения, вдохновения. Именно в Дорищах в полный накал заработала в нем та самая кузница мыслей, давшая возможность сложить воедино желание писать и уже накопленный творческий потенциал задуманного. И он искренне сожалел, что в городе дела с романом не спорятся. Об этом, спустя десять дней после своего возвращения, он сообщал в письме другу Федору, оставшемуся с семьей на хуторе: «...Ни дел, ни работы. Прошло уже десять дней, как я уехал от тебя, а воз и поныне там: не написал ни одной страницы. Сейчас, как никогда, я постиг истину: куй железо, пока горячо... Все больше убеждаюсь, что для работы творческой нужен покой, по крайней мере отдельная комната. А у меня этого нет, а это тоже мешает».

В Дорищи Абрамов больше не вернется, так уж сложатся его жизненные обстоятельства, но со следующего года он каждое лето будет выбираться в родную Верколу, в дом брата Михаила, где, уединившись в маленькой («кошка ляжет – хвост протянет», как говорят в народе), с низким потолком комнате, будет усердно писать, писать и писать свой роман, может быть, ставший не только первым, но и главным произведением всей его жизни.

Итак, небольшой хутор Дорищи на Новгородчине на короткие два месяца стал для Федора Абрамова настоящей творческой лабораторией, той отправной точкой, откуда «поплыли» первые сложные главы его будущих, завоевавших мировое признание, «Братьев и сестер».

Отсюда, из уютной дорищинской избы, при свете керосинового фитилька, он писал в Минск Людмиле, зазывая ее увидеть всю эту деревенскую красоту, которая ему была так близка. И она, хоть и ненадолго, приехала. После всех мытарств, унижений, выпавших на ее долю уже после, казалось бы, столь успешной защиты кандидатской, первый ее отпуск, пришедшийся на август, был как награда, как праздник.

* Мельников Ф.Ф. Откуда пошли «Братья и сестры» / Воспоминания о Федоре Абрамове: Сборник. М.: Советский писатель, 2000. 672 с.



↑ Федор Абрамов.
Аспирантура

На отправленную в Дорищи телеграмму, в которой значилось о приезде, Федор немедленно отозвался своей, отправив ее с почтового телеграфа деревеньки Хорино, что находилась в четырех верстах от хутора: «Бесконечно рад жду вези белых сухарей (белые сухари и сушки Федор Абрамов особенно любил. — *О. Т.*) телеграфируй выезд поздравляю успехом два Федора».

Встречать гостью на станцию Боровенки поехали оба Федора. Каким образом добирались, на этот счет свидетельств не осталось. Впрочем, гадать тут особо не о чем. Единственным средством передвижения на все случаи жизни была конная повозка.

Мельников вспоминал, что перед встречей Федор аккуратно прибрался в избе, подмел пол, помыл окна и очень был рад приезду Людмилы.

Почти две недели провели они впятером на хуторе. Быстро летело время. Федор по-прежнему с рассвета, не разгибаясь, просиживал за столом, и каждый день давал новые страницы романа. В свободное время все вместе гуляли по окрестностям, ходили за грибами, ловили рыбу и радовались всему, что их окружало. С удовольствием вкушали нехитрую крестьянскую снедь и даже сами помогали по хозяйству Трофиму Андреевичу и его супруге Ольге.

19 августа Федор Абрамов с Людмилой, тепло простившись с хозяевами дома, уехали. Как вспоминал Мельников, он с женой да Трофим Андреевич проводили их «до самого леса, на большую дорогу, где, хорошо помню, широко раскинулась поляна, вся усеянная ромашками. Тут же рядом бежал шустрый ручей, где Федор любил постоять босиком в воде, когда мы возвращались с прогулок за земляникой».

Лишенный особой сентиментальности, Абрамов тогда очень трогательно прощался с гостеприимным хозяином хуторского дома, крепко жал ему руку и, уже отдалившись от того места, где они расстались, еще долго, сидя на телеге, смотрел на уплывающие вдаль фигурки людей, помахивая рукой.

Тогда, покидая хутор, Абрамов вовсе не мог предположить, что пройдет совсем немного времени и от этого райского уголка не останется и следа. Жив-

шие в хуторе семьи разъедутся, прихватив с собой и дома. А те постройки, что останутся, в конце концов приберет время.

Ленинград встретил Федора Абрамова рутиной диссертационной работы, от которой он за два прошедших месяца порядком поотвык.

Проводив 23 августа Людмилу в Минск, он снова впрягся во всю эту казенщину неоспоримой нужды.

Наступал последний год его обучения в аспирантуре, а работы было еще много: нужно было сделать несколько статей в университетском «Вестнике», написать автореферат, сдать положенные экзамены, решить все вопросы с предварительным обсуждением работы, и прочее, прочее... Из письма 28 августа Людмиле: «То, что казалось мне раньше значительным, сейчас потускнело». Работа над романом явно «переборолла» усилия по диссертации. Но в Ленинграде вновь появились мысли (ох уж эти абрамовские сомнения!) о бесполезности и несостоятельности задуманной им вещи. И далее, в новом письме, написанном уже на следующий день: «...на душе у меня отвратительно. А всему вина, вероятно – неудачи с романом... Я все написанное подверг уничтожающей ревизии и вижу, что все это – учинительство. До удобочитаемой вещи – пропасть. И потому все назойливее мысль: не бросить ли эту музыку?.. Мне не хватает двух вещей: знания жизни и, что еще более важно, умения писать». И вот уже строки, наполненные сомнениями относительно не только романа, но и диссертации: «Роман думаю положить под сукно и числа 5–6 начну заниматься диссертацией. Я решил, что ее надо написать как можно скорее. Для нормальной жизни необходим ближайший успех, а роман – дело длинное.

На днях закончу 5-ю главу и брошу. К тому же я убеждаюсь, что в замыслах у меня все лучшее, чем в реализации, а это плохо. Видно, не писатель! Да и обстановка не благоприятствует. Для романа нужен покой и длительное “романное” настроение. Искусственно его создать нельзя. Буду писать диссертацию. Дай бог, чтобы только здесь что-нибудь получилось.

Одобряешь ли меня? Иначе ерунда. Кончаю аспирантуру, а у меня ни диссертации, ни романа».

Действительно, если видеть первые главы романа образца 1950 года, то создается впечатление, что Абрамов писал так, как думал, как шла мысль под запись, именно так она и оформлялась, без какой-либо доработки. Оттого-то и пестрят эти ранние рукописи колоссальным количеством пометок, вставок, добавлений, подчеркиваний, оборотными заполнениями листа. Когда и при каких обстоятельствах делались эти пометки, сказать трудно. Вероятнее всего, тексты дополнялись и были правлены Абрамовым уже в Ленинграде, как раз в ту самую пору – пору его тягостных мыслей о судьбе начатого им произведения.

А в личных отношениях наконец-то определилось некоторое спокойствие. Может быть, это была определенная сдержанность, возникшая вследствие понимания ситуации, в которой они оказались: он в Ленинграде, она в Минске, у каждого свои заботы, но в них жило уже то, что их объединяло, – любовь и доверие друг к другу. Федор был по-прежнему сдержан в признаниях и все больше, с присущим ему реализмом, размышлял: «О своих чувствах я уже писал. Я теперь не знаю, будешь ли ты счастлива, что встретила со мною. Через год я кончаю, и где буду работать, неизвестно. А жить в разлуке – тяжело и долго невозможно. И все же не стоит, пожалуй, об этом говорить сейчас. Ведь в этом году ничего нельзя изменить» (из письма 29 августа 1950 года).

А вот Людмила не скрывала своих чувств. «Я люблю тебя такого, как ты есть, и люблю не на час и не на день, а на всю жизнь», – откровенно писала она ему в своем ответном письме 2 сентября, успокаивая его и низвергая сомнения.

И, словно насквозь видя его литературную даровитость, отмечая его мысли по поводу несостоятельности затеи, настойчиво писала ему: «Феденька, хороший мой, поверь мне – и пиши, пиши роман. У тебя большие способности, и ты настоящий писатель. А кое-какие навыки придут в процессе работы».

Конечно, до того момента, пока Абрамов обретет свое перо, станет автором знаменитых «Братьев и сестер», пройдет еще немало времени. Но тогда этой поддержкой, уже зная беспокойный, мечущийся, неровный и в чем-то нерешительный характер Абрамова, Людмила Владимировна спасла в нем писателя, посеяв в его сердце надежду в добрый исход начатого, и в дальнейшем, связав с ним свою судьбу, сохранила его писательский талант.

29 февраля 1980 года на юбилейном вечере в Ленинградском доме писателя имени Маяковского уже писатель с мировым именем – Федор Абрамов – скажет в адрес своей супруги: «Я не могу не сказать... самых добрых слов о моей жене, которая тоже сыграла очень большую роль в моей писательской судьбе... Я не могу не сказать о ней добрых слов, потому что она мой соратник. Она человек, без которого я вообще-то ничего не делаю ни в жизни, ни в литературе». Эти слова, сказанные Абрамовым, действительно были правдой!

Сама же Людмила Владимировна при жизни Федора Абрамова публично никогда не вспоминала о весьма тревожной поре в биографии писателя, и лишь с его уходом, спустя время, на склоне своих лет, приоткрыла тайну, опубликовав нескольких писем из архива писателя.

Много, много сомнений претерпел тогда Абрамов в мыслях о романе: сомнений тягостных, сверлящих, нудных, не дающих забыть, направить мысль в другое русло. «О романе перестал думать... Какой уж там художник, если у меня такой суконный, казенный язык?» – с тревогой и явным желанием услышать обратное напишет он в Минск 27 сентября. И опять о диссертации: «Пока диссертация не написана, нельзя отдаваться этому соблазну» (из письма от 12 октября).

Плоткин при встречах крепко подгонял с диссертацией, настаивая закончить ее уже к весне. Да и сам Абрамов хорошо понимал, что она должна подоспеть в чистовом варианте к окончанию аспирантуры. Так надо! Так должно было быть!

Деваться было некуда, но работа, все одно, шла туго, не спорилась, буксовала. К тому же обременявшая общественная работа, от которой Абрамов никогда не увиливал, отнимала кучу времени. И в последнее время, как на грех, этой работы только прибавилось: частые заседания кафедры и еще чаще – партийного бюро, подготовка к обязывающим выступлениям – все это накладывало свой отпечаток.

Последние месяцы уходящего года Федор Александрович стал даже реже заглядывать в гости к Мельникову. Последний раз они виделись в начале сентября по возвращении «второго» Федора с семьей из Дориш. Федор Александрович тогда, засидевшись в гостях за полночь, много расспрашивал, вспоминал и высказывал мысли, что следующим летом обязательно поедет вместе с другом на полюбившийся хутор.

О том, что наступающий 1951 год будет решающим не только в его научной биографии, но и в семейной жизни, Абрамов, конечно, знал, ну или хотя бы предполагал. С защитой кандидатской было более или менее понятно, там все зависело исключительно от сроков и времени. А вот в разрешении вопроса семейного устройства по-прежнему была все та же абрамовская нерешитель-

ность, по всей видимости, мучившая и его самого. Уж слишком серьезно подошел он к запуску этого этапа в своей жизни. И, может быть, в его уж слишком реалистическом мировоззрении еще была и небольшая доля помыслов несколько оттянуть это время. Но собственные чувства к Людмиле и ее отношение к нему заставляли по-особому смотреть на все эти «неудобства» предстоящей семейной жизни. И пустота после ее отъездов воспринималась Федором уже иначе: она давила, корябала, заставляя все чаще и чаще усаживаться за чистый лист бумаги, чтобы написать очередное письмо в Минск. Он уже хорошо понимал, что между ними происходит нечто значительное.

12 января 1951 года Людмила Крутикова приехала к Абрамову в Ленинград.

Так уж произошло, что у коренной петербуженки, родившейся и выросшей в городе на Неве, в самом Ленинграде никого не было. Но тем не менее она не чувствовала себя в нем гостем: были друзья, знакомые, и, прежде всего, здесь жил тот, ради кого она сюда ехала.

Абрамов был рад ее приезду и в назначенный час встречал ее на перроне Московского вокзала.

До Малой Охты не торопясь шли пешком, разговаривали. Был погожий, солнечный зимний день с высоким голубым небом и ярким, слепящим глаза, морозным солнцем. День, словно специально заказанный для них...

«Замечаешь ли ты, что с каждым разом становится все труднее обживать после разлуки?» – напишет он ей первым уже на второй день после ее отъезда в Минск. А уже на следующий день, чтобы положить конец этим разлукам, пойдет в Пушкинский дом к Алексею Сергеевичу Бушмину, только что назначенному на директорскую должность, и будет просить за Людмилу об устройстве ее на работу. Но получит отказ. И вновь камнем преткновения станет ее «оккупационное» прошлое. «...Словом, твое прошлое, столь неприятное для меня во всех отношениях, является помехой и здесь. Бушмин даже высказал мне порицание, что я, человек, работавший в партийных органах, ходатайствую за лицо, бывшее на оккупированной территории... все для тебя не утешительно, но ты не горюй», – с явной болью в душе, словно утешая вместе с ней и самого себя, напишет Абрамов в этом письме.

Отношение Федора Абрамова к столь неприятному эпизоду в биографии своей возлюбленной было весьма неоднозначным. Конечно, он понимал. А что могла сделать девушка, фактически отправленная в эвакуацию от наседающей войны и по случайному стечению обстоятельств оказавшаяся в самом ее жерле – оккупации, девушка, которая, ежечасно рискуя своей жизнью, провела почти два года «под прицелом» у врага?! Нужно ли говорить о том, что творили с мирным населением немецко-фашистские войска на оккупированной ими территории? Думаю, что в этом нет необходимости, об этом сказано предостаточно. С другой же стороны, Федор Абрамов, хвативший сполна фронтового лиха, в своем сознании не мог принять тот факт, что можно было жить и работать «под фашистами». На эту дилемму он постоянно наталкивался, пытаясь, по крайней мере для самого себя, оправдать «поступок» Людмилы. Для него, человека с безупречным фронтовым прошлым, было очень тяжело смириться с сим «неблагонадежным» фактом в биографии Людмилы, не единожды становившимся камнем преткновения в его судьбе.

В начале 50-х, когда они уже будут жить вместе, еще до его нашумевшей статьи в «Новом мире», Федору Абрамову предложили возглавить отдел культуры Ленинградского обкома КПСС. Должность очень солидная, и для него, едва перешагнувшего тридцатилетний рубеж, могла бы сыграть весомую роль в партийной карьере. Но все разом разрушилось, как только в верхах узнали о его

весьма близкой причастности к лицу, находившемуся длительное время на оккупированной территории*.

Припомнили Абрамову эту «неблагонадежную» связь и во время его яростных «чихвосток», проходивших в университете и в обкоме после выхода в свет статьи о «людях колхозной деревни», что дала такую волну резонанса в верхах, о чем не мог предположить даже сам автор.

До того момента, как Людмила Крутикова напишет заявление с просьбой уволить ее с должности преподавателя филфака Белорусского университета, а случится это 19 июня 1951 года, в ее жизни с Федором Абрамовым вновь потечет вереница сомнений в их семейном счастье, инициатором которых снова станет Федор. Это будет период волнительной для них обоих переписки, наполненной содрогающими душу эмоциями, за которыми явно слышатся тоскливые стоны душ, загнанных в круговерть проблем, которые, как тогда казалось, были вовсе не разрешимы.

И даже его апрельский приезд в Минск почти на целый месяц лишь на короткое время разрядит ту атмосферу за их будущее, но так до конца и не избавит от нее. В его последующих письмах по-прежнему будет беспокойство о сочинительстве, которое, возможно, будет оставлено в результате совместной жизни, чего ему совсем не хотелось. Из майских писем Федора Абрамова: «...Я предчувствую, что это надолго лишит меня возможности мараить бумагу по своей прихоти». И в другом письме, словно желая продлить свою холостяцкую жизнь, явно намекнет в свойственной ему манере, что он не против работы Людмилы в Минске еще в течение года: «Может быть, это самое разумное. Но я также и за твой приезд».

Ленинград – Минск. Это расстояние, пусть и не такое большое, которое они не могли сократить в эти последние два года, висело дамокловым мечом над ними.

Нужно было кому-то сделать первый шаг. Абрамов не мог – мешала аспирантура, а может быть, делал выдержанную паузу в этом вопросе.

У Людмилы было не все спокойно в университете, и ей, теперь уже кандидату филологических наук, было гораздо проще покинуть город, так и не ставший для нее родным. И тем не менее переезд в Ленинград так же не сулил ей радужных перспектив в работе, но все же она решилась, поставив превыше всего свои чувства к Абрамову.

А что Абрамов? «Да, я люблю тебя, люблю только одну тебя», – напишет он ей признание в письме от 7 июня. И уже в более позднем письме от 22 июня, явно приняв решение Людмилы вернуться в Ленинград, будет строить их совместные планы: «...Ты приезжаешь 3–5, может быть, недельку я еще позанимаюсь, и поедем на север дней на 20 – на 30. А если будет твоя воля. Поедем сразу. По приезде снимаем комнатенку, я заканчиваю диссертацию, ты ищешь работу (с моей помощью). А в сентябре, может быть, дадут общежитие».

И все же, если бы не решительность Людмилы, то, по всей видимости, не быть ей женой Федора Абрамова и верным хранителем его огромного таланта. Каза-

* Однако близкий к Абрамову А. И. Рубашкин придерживается несколько иной версии «краха» партийной карьеры Ф. Абрамова. Вот как он рассказывает об этом, не ссылаясь на первоисточник. После последовавшего предложения Федор Абрамов «после раздумий и разговоров с самыми близкими пришел с вопросом – дадут ли ему при новой должности квартиру. Сколько он может ютиться с Люсей в коммуналке? И тут уже задумалось начальство. Странный вопрос, странный разговор. Он что, с луны свалился, этот бывший фронтовик? Конечно же, не только заведомо, но и партчиновники поменьше рангом, полируя коридоры Смольного, не были обделены ни квартирой, ни путевками в закрытый санаторий и проч. Начальство думало долго, но объясняться с Абрамовым не стало. Нашелся человек более понятливый» (Рубашкин А. И. В доме Зингера. Воспоминания. Портреты. Письма. СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга; Петрополис, 2015. С. 91–135).

лось бы, что при всей эмоциональной составляющей отношений Федора Абрамова к ней его душевное метание, выражавшееся в фактическом отталкивании искренне любящего человека, едва не стало для их семейного счастья роковым. И вот, в подтверждение этому, резкое, отчасти нервное и весьма тревожное, наполненное безразличием письмо, отправленное еще 21 июня, и это за десять дней до приезда Людмилы в Ленинград: «...Нет, надо твердо решить: или жизнь со мной и тогда ущербность в работе, в быту, словом во всем, или работа... В телеграмме от 19-го ты сообщаешь, что из Минска уезжаешь 3-го. Следовательно, с ним ты расстанешься навсегда. Но подумай еще раз: если ты без педагогической работы не можешь обойтись, что ж, можно тогда просить у Министерства нового назначения. Жаль только, что ты поспешила с оформлением ухода по семейным обстоятельствам. И вообще твое преждевременное отбытие из Минска для меня остается полной тайной... Я постараюсь остаться в Ленинграде, но если тебя это не устраивает, ты всегда свободна в определении своей судьбы.

В отличие от тебя, я не имею обыкновения упрекать человека, когда он меняет свои решения...

Год нам предстоит очень тяжелый. Ты приезжаешь 3-го, а где остановишься, не знаю. В общежитии нельзя, так как Бережной уедет после 15-го. Но, вероятно, что-нибудь придумаем. Главное, чтобы у тебя не было чувства обреченности. Иначе, как ты понимаешь, мы сразу же поругаемся... Я рад твоим сообщениям о любви к тебе студентов. Может быть, потому-то мне и кажется иногда, что я отрываю тебя от большого дела. Хотя нет, я не стеснял тебя в решении этого важного вопроса».

И снова развилка дорог их семейной жизни! Что могла ответить Абрамову Крутикова, которая, к слову, к этому времени еще состояла в законном браке? Ответ был в письме от 29 июня: «...Сколько я тебе писала о трудностях! Я верила тебе. Я нашла в себе силы пойти на все ради нашей жизни. И снова в трудную минуту, в последнюю минуту ты отступаешь... Словом, либо ты решишь сделать все (и ты способен на это), чтобы мы были вместе, либо надо расстаться. Третьего пути нет.

Если человек захочет, он всегда может добиться. Решай.

Если мы ночью не договоримся (предполагался телефонный разговор. – *О. Т.*), то на это письмо жду телеграмму, только ясную. Ибо я должна тогда выезжать в Москву и решать свою судьбу. Людмила».

Это письмо Людмилы Крутиковой Абрамову было последним в их двухгодичной переписке «Ленинград – Минск», ставшей поистине знаковой в их судьбах.

Истину несут в себе слова Есенина: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии». Как бы сложились их отношения, оставшись тогда Крутикова в Ленинграде, – неизвестно. Тот короткий период их общения все же не мог дать того глубокого познания абрамовского характера, которая дала переписка.

Поистине, письма – есть свет человеческой души. И этот играющий свет души Федора Абрамова, то закрываемый свинцовыми грозowymi тучами постоянных сомнений и подозрительного скепсиса, то вновь пробивающийся, обретаемый через предостережения и двусмыслие, чрезмерную взыскательность к самому себе и неуверенность, можно было увидеть лишь на значительном расстоянии. Ведь вся его натура уже тогда была сродни огромному раскаленному солнцу, согревающему на расстоянии, но обжигающему, испепеляющему вблизи. Это было свойством огромного таланта, рассмотреть который через призму бытовой сутолоки было дано не каждому.

Тогда, на заре их отношений, уже видя всю сложность абрамовской натуры, она вряд ли смогла бы пересилить себя, устав от постоянных вспышек его вну-

тренней энергии, выстроить отношения так, какими они стали спустя эти два года. Возможно, что частые встречи просто бы подломили чувства обоих, не дав им вырасти в то, что зовется одним словом – единение.

Какой убедительной силы был тот ночной разговор, расставивший все точки над «і» в самом главном в то время вопросе, – нам не известно, но 7 июля Федор Абрамов уже встречал Людмилу на перроне Московского вокзала.

Этот день стал для Федора Абрамова началом новой жизни, продлившейся чуть более трех десятилетий, жизни творческих свершений, наполненной любовью, добром и пониманием со стороны человека, ставшего для него поистине всем, отдавшего себя сполна его великому таланту словотворца.

Их совместная жизнь, в прямом смысле слова, началась с Верколы, куда они в самую комариную пору и время белых ночей и сенокоса, оставив часть вещей у Мельникова, не решив никаких жилищных вопросов, укатили уже на второй день по приезду Людмилы в Ленинград. Единственным тогда транспортом, как и в детские годы Федора Абрамова, был пароход. Северная Двина, Пинега...

По воспоминаниям Людмилы Владимировны, путь был долгим и утомительным, плыли «на каком-то маленьком пароходике», напичканном донельзя пассажирами, «который не раз садился на мель».

Если эта первая и последняя перед долгим перерывом поездка Людмилы на родину Федора была для нее испытанием, то для Федора Абрамова она стала долгожданной встречей с родиной после двухгодичного перерыва.

По приезду остановились в небольшой одноэтажной избе, где уже который год жила семья брата Михаила.

«Было тесно, жарко и душно, – вспоминала Людмила Владимировна. – Я плохо помню... где и как мы ночевали, скорее всего, на сеновале над скотным двором, где стояла корова».

По всей видимости, так оно и было. Поветь, а именно ее имела в виду Людмила Владимировна, когда упоминала сеновал, была обычным чердаком над коровником, где хранили сено, подававшееся корове через специальный, оформленный в полу, люк. Сочно пропитавшаяся терпко-пряными запахами трав, поветь хранила в себе память о коротком северном лете, спасала от томительных бессонных белых ночей, когда в полночь солнце уже было в зените и сон снимало как рукой. Федор, желавший показать Людмиле все, чем дышало его детство, не мог не поднять ее на повесть – святая святых его малой поры.

Да и сон на повети был куда крепче, чем в тесной избе, где изо дня в день, даже в летнюю жару, томно топилась печь, занимающая почти четверть передней.

Отсутствие элементарных бытовых условий, имевших место даже в самом простеньком городском жилье, и, самое главное, ощущение того, что вся деревня есть не что иное, как большая семья, просто не могло не привести в замешательство человека, ее не знавшего, не вскормленного ей. «Я впервые тогда не только пила чай из самовара, но и удивлялась, что каждая еда в их семье начиналась и заканчивалась обильным чаепитием. Поразила меня и баня, небольшая по размеру, и топилась по-черному, когда весь дым и сажа оказывались внутри», – восторженно напишет Людмила Владимировна спустя многие годы о веркольских «диковинках».

Конечно, для сугубо городского человека, никогда не видевшего все эти «достопримечательности» деревенской жизни далекой северной глубинки, такое положение было поистине испытанием. В доме, состоящем из двух одна меньше другой комнат, разделенных дощатой переборкой, где жила большая семья из пяти человек, не было возможности не то чтобы на какое-то время уединиться, но и просто побыть в тишине, спрятавшись от взглядов домочадцев.

Изнуряющая дневная жара, дополненная назойливыми оводами, и неукротимое море гнуса по вечерам не давали никакого спокойствия, гнали от реки, со двора и вообще с улицы в духоту дома, окна в котором даже не имели форточек, в связи с чем изба никогда не проветривалась и крепко держала в себе запахи кухни.

5 августа, на Артемьев день, в Верколе был престольный праздник. По обычаю, гуляла вся деревня. Пели песни, плясали, водили хороводы. Застолья бушевали в каждом доме. И как положено при таких делах, на спиртное не скупилась. Гостья из Ленинграда была потрясена увиденным: «...Гуляла и веселилась вся деревня до поздней ночи. Мы тоже вместе со всеми ходили гурьбой по всей деревне... Всей гурьбой люди заходили чуть ли не в каждый дом. Поразило меня само застолье. Столы часто были накрыты до прихода гостей. Все рассаживались, начинали выпивать водку и восхищались – какое богатое застолье. А на столах зачастую кроме хлеба и водки ничего не было... Наконец, почти за полночь я сказала Федору: “ты можешь так ходить хоть всю ночь, а меня отведи домой, я больше не выдержу”».

Эти отрывистые, но очень яркие, сочные, накрепко врезавшиеся в память воспоминания о своем первом посещении Верколы Людмила Владимировна Крутикова будет хранить всю свою жизнь.

Мы не знаем, благодарила ли она тогда Федора Абрамова за «экскурсию» в этот непонятный для нее, затерявшийся среди пинежских лесов мир и думала ли она тогда, что земля Верколы станет для нее такой же близкой, как и для ее мужа. И уж тем более вряд ли могла предположить, что именно веркольская земля в далеком будущем, на изломе второго десятилетия XXI века, примет ее на вечный покой на высоком угоре с видом на реку Пинегу, по которой они плыли с Федором тем летом 1951 года.

В Ленинград вернулись уже во второй половине августа. Федор сразу включился в подготовку автореферата диссертации. Плотнo работая всю весну над текстом, он к июню все же осилил его. Обсуждение диссертации на июньском заседании сектора кафедры прошло весьма успешно. Плоткин был доволен, а зав. кафедрой Бердников высказал желание написать внутреннюю рецензию. Защита намечалась на осень.

Еще перед самым отъездом на Пинегу, по окончании аспирантуры, Федор Абрамов приказом Министерства высшего образования был принят на работу в качестве преподавателя кафедры советской литературы. Это был своего рода аванс доверия, разрешивший вопрос дальнейшего трудоустройства по направлению, которое неминуемо последовало бы после защиты диссертации. Это хоть как-то разрядило обстановку неизвестности в дальнейшей жизни Абрамова, теперь уже с Людмилой Крутиковой. Тогда стало понятно, что они оба остаются в Ленинграде.

С «семейным» жильем пока не ладилось, и он по-прежнему жил в университетском общежитии, она – у своей давней знакомой, преподавательницы филфака Ирины Сергеевны Рождественской, той самой, что крепко отличилась в усердной борьбе с космополитами.

К слову, весьма нелестную характеристику Рождественской дал Д.С. Лихачев: «Это была чрезвычайно худая (от злости?) и некрасивая, неряшливо одетая девица»*. Конечно, мнение Дмитрия Сергеевича может быть отчасти весьма субъективным и даже предвзятым, вызванным рядом причин. Но, прежде всего,

* Лихачев Д.С. Четвертое измерение. М.: АСТ, 2018. С. 380.

не будем забывать, что Рождественская и Федор Абрамов входили в ту самую группу, громившую профессоров-космополитов в университете и Пушкинском доме, где крепко тогда досталось и Лихачеву. И все же Рождественская, с ее сложным характером, была на тот момент в близком окружении Федора Абрамова, как, впрочем, и другие персоны, ей подобные, создававшие вокруг Федора Абрамова ореол не только страха, но и ненависти со стороны большинства. Сам же Абрамов, по всей видимости, на тот момент поглощенный усердием «мнимой» правоты, не видел вокруг себя этого негатива, а когда осознал, то было поздно: время уже накрепко вписало в его биографию этот весьма неприятный факт, которого он совестился всю свою жизнь.

А с Рождественской, скорее всего, ввиду ее тесного общения с Людмилой Крутиковой, Абрамов поддерживал дружеские отношения всю жизнь, и даже в конце 60-х годов, когда она принудительно была помещена в психиатрическую клинику, принял активное участие в ее вызволении из данного учреждения.

Итак, Федор Абрамов – преподаватель университетской кафедры советской литературы, еще не защитивший кандидатскую. Отказавшись еще весной этого года от весьма заманчивой должности заведующего ленинградским отделением «Литературной газеты», он все же предпочел научно-преподавательскую деятельность, которая была ему ближе.

В сентябре Абрамов подает автореферат диссертации на утверждение в диссертационный совет и уже 1 октября получает разрешение на допуск к защите. Оппонентами Федора Абрамова были определены доктор филологических наук профессор Григорий Абрамович Бялый и кандидат филологических наук доцент Борис Иванович Бурсов, в этом же году защитивший докторскую диссертацию. Оба – весьма значимые персоны в научном мире филологии.

Защита научной работы в то послевоенное время была действительно значимым событием и для самого соискателя, и для учебного заведения. О предстоящей защите заблаговременно сообщалось не только в печатных органах альма-матер, но и в общественных печатных изданиях – с целью большего привлечения слушателей.

Так, 19 октября 1951 года в газете «Вечерний Ленинград» появилось объявление о предстоящей защите Федора Абрамова, намеченной на 18:00 1 ноября, которая будет проходить в зале ученого совета филологического факультета Ленинградского университета.

Отметим, что кандидатская диссертация Федора Абрамова на тему ««Поднятая целина» М. Шолохова» была научным исследованием лишь первой книги романа, увидевшего свет в 1932 году. Второй же том шолоховской «Поднятой целины» выйдет только в 1959 году, когда абрамовские «Братья и сестры» уже найдут своего читателя.

Защита кандидатской диссертации прошла блестяще. Все были поражены тем, насколько глубоко Абрамов знал выбранную тему. Вопросов от оппонентов почти не последовало, а профессор Бялый во время получасового выступления диссертанта не сводил с него глаз. При докладе Абрамов не пользовался ничем, словно то, о чем он говорил, было его собственным творением.

И после обсуждения диссертации закрытое голосование ученого совета просто не могло не закончиться положительно. Не было ни одного голоса «против».